

Литрес ≡ Классика

Эдгар По

ПОВЕСТВОВАНИЕ
АРТУРА ГОРДОНА ПИМА
ИЗ НАНТАКЕТА



Эдгар Аллан По

**Повествование Артура
Гордона Пима из Нантакета**

«ЛитРес»

1838

По Э.

Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета / Э. По —
«ЛитРес», 1838

Юный Артур Гордон Пим, выросший в Нантакете, с детства одержим мечтой о море. Тайком проникнув на борт китобойного судна «Грампус», он оказывается втянут в череду катастрофических событий – мятеж, шторм и голод. Выжив вопреки всему, он вместе с несколькими спутниками продолжает путь в неизведанные антарктические воды, где их ждут пугающие открытия и встреча с необъяснимым.

© По Э., 1838
© ЛитРес, 1838

Содержание

Сообщение Артура Гордона Пима	6
Предупреждение	7
Глава первая	9
Глава вторая	15
Глава третья	23
Глава четвертая	28
Глава пятая	32
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Эдгар Аллан По
Повесть о Артуре
Гордона Пима из Нантакета

ЛитРес
библиотека

© «Литрес», 2026

Сообщение Артура Гордона Пима

Содержащее подробности возмущения и жестокой резни на американском бриге «Грампус» в пути его к Южным морям, с рассказом о вторичном захвате корабля уцелевшими в живых; об их крушении и последующих ужасных страданиях от голода; о спасении их британской шхуной «Джэн Гай»; о кратком крейсеровании этого последнего судна в Полуденном океане; о захвате шхуны и избиении ее экипажа среди группы островов на 84-й параллели южной широты; о невероятных приключениях и открытиях еще дальше на юг, к коим привело это прискорбное злополучие.

Предуведомление

По моем возвращении несколько месяцев тому назад в Соединенные Штаты после необычайного ряда приключений в Южных морях и иных местах, о чем я рассказываю на последующих страницах, случай свел меня с обществом нескольких джентльменов в Ричмонде, в Виргинии, и они, сильно заинтересовавшись всем касательно областей, которые я посетил, настойчиво убеждали меня, что мой долг предоставить повествование мое публике. Я имел, однако, причины уклоняться от этого; некоторые из них были совершенно личного характера и не касаются никого, кроме меня самого, но были еще причины и другого свойства. Одно соображение, удерживавшее меня, было таково: не ведя дневника в продолжение большей части времени, когда я был в отсутствии, я боялся, что не смогу написать по памяти рассказа столь подробного и связного, чтобы он имел вид той правды, которая была в нем в действительности, и выкажу только естественное неизбежное преувеличение, к которому склонен каждый из нас, описывая происшествия, имевшие могущественное влияние на возбуждение наших способностей воображения. Другая причина была та, что происшествия, которые должно было рассказать, по природе своей были столь положительно чудесны, что я, ввиду неподдержанности моих утверждений никакими доказательствами, как это поневоле должно было быть (кроме свидетельств одного индивидуума, да и тот индеец смешанной крови), мог бы надеяться только на то, что мне поверят в моей семье и среди тех моих друзей, которые в продолжение целой жизни имели основание увериться в моей правдивости, но, по всей вероятности, большая публика стала бы смотреть на то, что я стал бы утверждать, просто как на наглую и простодушную выдумку. Недоверие к моим собственным способностям как писателя было со всем тем одной из главных причин, каковые мешали мне согласиться с уговариваниями моих советников.

Между теми джентльменами в Виргинии, которые выражали величайший интерес к моему рассказу, в особенности к той его части, которая относилась к Полуденному океану, был мистер По, недавно бывший издателем «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, печатаемого мистером Томасом В. Уайтом в городе Ричмонде.

Он очень советовал, вместе с другими, теперь же приготовить полный рассказ о том, что я видел и пережил, и положиться на проницательность и здравый смысл публики, утверждая с полной правдоподобностью, что, несмотря на необработанность в чисто литературном отношении, с какой вышла бы в свет моя книга, самая ее неуклюжесть, ежели в ней есть таковая, придаст наибольшее вероятие тому, что ее примут за истину.

Несмотря на это увещание, я не мог настроить свой ум сделать так, как он мне советовал. Видя, что я не займусь этим, он предложил мне изложить своими собственными словами первую часть моих приключений по данным, сообщенным мною, и напечатать это в «Южном вестнике» под видом вымысла. Не имея против этого никаких возражений, я согласился, условившись только, что настоящее мое имя будет сохранено. Два выпуска мнимого вымысла появились последовательно в «Вестнике», в январе и феврале (1837), и для того, чтобы на это смотрели действительно как на вымысел, имя мистера По приложено было к очеркам в оглавлении журнала.

То, как принята была эта хитрость, побудило меня наконец предпринять правильное составление и печатание упомянутых повествований, ибо я нашел, что, несмотря на вид вымысла, каковой был так находчиво придан той части моего отчета, которая появилась в «Вестнике» (без изменения или искажения хотя бы одного случая), публика совсем не была расположена принять это как выдумку, и несколько писем было послано по адресу мистера По, которые ясно свидетельствовали об убеждении читателей в противном. Отсюда я заключил, что события и случаи моего повествования были такого свойства, что сами в себе имели доста-

точную очевидность их собственной достоверности, и, следовательно, я мог мало опасаться насчет недоверия публики.

Теперь когда все начистоту сказано, сразу будет видно, на что из последующего я притягаю как на мое собственное писание; и также будет понятно, что ни один случай не искажен в первых нескольких страницах, которые написаны мистером По. Даже тем читателям, которые не видали «Вестника», будет излишне указывать, где кончается его часть и начинается моя: разница в слоге будет вполне заметной.

А. Г. Пим

Нью-Йорк, июль, 1838

Глава первая



Мое имя Артур Гордон Пим. Мой отец был почтенным торговцем морскими материалами в Нантакете, где я родился. Дед мой по матери был стряпчим и хорошо вел дела, которых у него было достаточно. Он был счастлив во всем и совершил несколько удачных оборотов на акциях Эдгартонского нового банка, когда тот был только что основан. Этим способом и другими он скопил порядочную сумму денег. Ко мне он был привязан, как мне кажется, более, чем к кому-либо другому на свете, и я рассчитывал унаследовать большую часть его состояния после его смерти. Когда я был в возрасте шести лет, он отдал меня в школу старого мистера Риккетса, джентльмена с одной лишь рукой и чудаческими манерами, – он хорошо известен почти каждому, кто посетил Нью-Бедфорд. Я пробыл в его школе до шестнадцати лет и потом покинул его, чтобы перейти в школу мистера Э. Рональда, что на горе. Здесь я подружился с сыном мистера Барнарда, морского капитана, который обыкновенно совершал плавания на судах Ллойда и Реденбурга, – мистер Барнард также хорошо известен в Нью-Бедфорде, и я уверен, что у него есть родственные связи в Эдгартоне. Его сына звали Августом, он почти на два года был старше меня. Он совершил плавание с отцом на китобойном судне «Джон Дональдсон» и всегда рассказывал мне о своих приключениях в южном Тихом океане. Часто я

отправлялся вместе с ним к нему на дом и оставался там целый день, а иногда и всю ночь. Мы спали в одной постели, и он мог быть уверен, что я не засну почти до рассвета, если он будет рассказывать мне истории о туземцах острова Тиниана и других местах, которые он посетил во время своих путешествий.

Под конец я не мог не быть захвачен тем, что он говорил, и мало-помалу чувствовал величайшее желание отправиться в море. У меня была парусная лодка, называвшаяся «Ариэль», стоимостью около семидесяти пяти долларов. Она имела полудек с коморкой и была оснащена на манер шлюпки – я забыл ее вместимость, но в ней могло бы поместиться до десяти человек без особой тесноты. На этой лодке мы имели обыкновение совершать безумнейшие в мире проделки; и когда я теперь о них думаю, мне кажется одним из величайших чудес, что я донныне нахожусь в живых.

Я расскажу одно из этих приключений как введение к более длинному и более серьезному повествованию. Однажды вечером у мистера Барнарда были гости, и мы оба, Август и я, порядочно выпили к концу вечера. Как обыкновенно в этих случаях, я предпочел разделить с ним его постель, нежели идти домой. Он уснул, как мне показалось, очень спокойно (было около часу, когда общество разошлось), не сказав ни слова на свою любимую тему. Могло пройти около получаса, как мы были в постели, и я только что стал погружаться в дремоту, как вдруг он вскочил и поклялся страшной клятвой, что не будет спать ни из-за какого Артура Пима во всем христианском мире, когда дует такой великолепный ветер с юго-запада. Никогда в жизни я не был столь удивлен, не зная, что он разумел, и думая, что вина и крепкие напитки, которые он выпил, совершенно вывели его из себя. Он продолжал говорить очень спокойно; он знает, сказал он, что я думаю, будто он пьян, но он никогда в жизни не был более трезв. Он только устал, прибавил он, лежать в постели в такую чудесную ночь, точно собака, и был твердо намерен встать, одеться и выехать на лодке повеселиться. Вряд ли смогу я сказать, что овладело мной, но не успели слова эти вылететь из его уст, как я почувствовал дрожь величайшего возбуждения и удовольствия, и его сумасшедшая затея показалась мне одной из самых чудесных и разумнейших вещей в мире. Ветер переходил почти в бурю, и погода была очень холодная – это было в конце октября. Тем не менее я вскочил с постели в некоторого рода восхищении и сказал ему, что я так же смел, как и он, так же, как и он, устал лежать в постели, точно собака, и готов на всякую веселую выдумку и забаву, как и какой-нибудь Август Барнард в Нантакете.

Не теряя времени, мы оделись и бросились к лодке. Она была причалена у старой обветшалой пристани около склада материалов «Панкея и К°» и почти ударялась своими боками о грубые плахи. Август вошел в нее и стал вычерпывать воду, ибо лодка почти до половины была полна. Когда это было сделано, мы подняли кливер и грот и, распустив паруса, смело направились в море.

Как я уже сказал раньше, дул свежий ветер с юго-запада. Ночь была светлая и холодная. Август взялся за руль, а я встал у мачты на деке коморки. Мы летели прямо с большой быстротой, никто из нас не произнес ни слова, с тех пор как мы отвязали лодку от пристани. Теперь я спросил моего товарища, в каком направлении он думал править и как он думает, когда будет возможно вернуться назад. Он свистел в продолжение нескольких минут, потом сказал сварливо: «Я иду в море, ты можешь отправляться домой, если считаешь это уместным». Обратив на него взор, я заметил тотчас, что, несмотря на его деланую небрежность, он был очень взволнован. Я мог ясно видеть его при свете луны, лицо его было бледнее мрамора, и рука так дрожала, что он с трудом удерживал ручку румпеля. Я увидел, что тут что-то неладно, и серьезно встревожился. В те времена я мало что понимал в управлении лодкой и был, таким образом, в полной зависимости от навигационного искусства моего друга. Ветер, кроме того, вдруг усилился, и мы быстро вышли из подветренной береговой линии, все же я стыдился выказать какой-либо страх и с полчаса сохранял решительное молчание. Я не мог, однако, выдержать дольше и стал говорить Августу о необходимости вернуться назад. Как и

раньше, прошло с минуту, прежде нежели он ответил или обратил какое-либо внимание на мое замечание. «Сейчас, – сказал он наконец. – Времени довольно... домой сейчас».

Я ожидал такого ответа, но было что-то в тоне этих слов, что наполнило меня неопи-сваемым чувством страха. Я снова со вниманием посмотрел на говорившего. Его губы были совершенно бледны, и колени его так сильно дрожали, что казалось, он с трудом мог стоять. «Ради Бога, Август! – закричал я, теперь совершенно испуганный. – Что с тобой? Что случи-лось? Что ты хочешь делать?» – «Случилось?.. – сказал он, заикаясь, с видом величайшего удивления, и, выпустив румпель, упал вперед на дно лодки. – Случилось?.. Почему... ничего... не случилось... едем домой... ч-черт... разве ты не видишь?» Вся правда вспыхнула передо мной. Я бросился к нему и приподнял его. Он был пьян, смертельно пьян, он не мог больше ни стоять, ни говорить, ни видеть. Его глаза были совершенно остеклелыми; и когда я выпустил его в крайнем отчаянии, он покатился, как чурбан, в килевую воду, из которой я его поднял. Очевидно, в течение вечера он выпил гораздо больше, чем я подозревал, и его поведение в постели было следствием крайнего состояния опьянения – состояния, которое, подобно безу-мию, делает жертву часто способной подражать внешне поведению тех, кто находится в пол-ном обладании своим рассудком. Прохлада ночного воздуха, однако же, оказала свое обычное действие – умственная энергия начала уступать ее влиянию, и то смутное сознание опасно-сти, которое, без сомнения, поначалу у него было, ускорило катастрофу. Теперь он впал в совершенно бесчувственное состояние, и не было никакой вероятности, чтобы в продолжение нескольких часов он пришел в себя.

Вряд ли возможно вообразить крайнюю степень моего ужаса. Винные пары улетучились, оставляя меня вдвойне смущенным и нерешительным.

Я знал, что был совершенно неспособен управлять лодкой, а свирепый ветер и сильный отлив несли нас к гибели. За нами, очевидно, собиралась гроза; у нас же ни компаса, ни запа-сов провизии, и было ясно: если мы будем держаться того же направления, до наступления рассвета мы потеряем из виду землю. Страшные мысли толпой проносились в моем уме с оше-ломляющей быстротой и на некоторое время парализовали меня до полной невозможности сделать какое-либо усилие. Лодка по ветру убегала с ужасающей скоростью без рифа в кливере или главном парусе, то и дело погружая свою переднюю часть в пену. Величайшее чудо, что она не рыскала, ибо Август, как я сказал раньше, упустил руль, а я был слишком взволнован, чтобы подумать взяться за него самому. К счастью, судно держалось крепко, и постепенно я обрел некоторое присутствие духа. Ветер, однако же, страшно усиливался; каждый раз, когда мы поднимались после нырка вперед, сзади море вставало страшными гребнями над нашей кормой и затопляло нас водою. Все тело так у меня онемело, что я почти не сознавал каких-либо ощущений. Наконец я воззвал к решимости отчаяния и, бросившись к главному парусу, отпустил его. Как и можно было ожидать, он полетел через борт и, окунувшись в воду, сорвал мачту. Только последнее обстоятельство спасло меня от немедленной гибели. С одним лишь кливером я быстро плыл теперь вперед по ветру, иногда зачерпывая тяжелую волну, но осво-божденный от страха немедленной смерти. Я взялся за руль и вздохнул с большим облегче-нием, увидав, что для нас еще оставалась возможность окончательного спасения. Август все продолжал лежать без чувств на дне лодки, и, так как была серьезная опасность, что он захлеб-нется (воды набралось около фута глубины, как раз где он упал), я придумал приподнять его хоть немного и удержать в сидячем положении, пропустив веревку вокруг его поясницы и при-вязав ее к железному кольцу на деке коморки. Устроив все как только мог лучше, в том полу-замерзшем и взволнованном состоянии, в каком я был, я поручил себя Богу и настроил свой ум так, чтобы вынести твердо что бы ни случилось, со всем мужеством, которое было в моей власти.

Только что я пришел к этому решению, как вдруг громкий и долгий крик, будто из глоток тысячи демонов, казалось, заполнил всю атмосферу вокруг лодки. Никогда в жизни я не смогу

забыть напряженной агонии ужаса, которую я испытал в тот миг. Волосы мои стали дыбом, я почувствовал, что кровь застыла в жилах, сердце совсем перестало биться, и, не подняв даже глаз, чтобы узнать причину моей тревоги, я рухнул без чувств на тело моего упавшего товарища.

Когда я пришел в себя, я находился в каюте большого китобойного судна «Пингвин», возвращавшегося в Нантакет. Несколько человек стояло надо мною, и Август, бледнее смерти, усердно растирал мне руки. Когда он увидел, что я открыл глаза, его вскрики благодарности и радости возбудили попеременно смех и слезы среди стоявших около меня людей, суровых на вид. Тайна того, что мы были еще живы, без промедления разъяснилась. Мы были опрокинуты китобойным судном, которое, держась круто под ветром, пробиралось к Нантакету на всех парусах, какие только дерзнуло распустить, и шло, следовательно, почти под прямым углом к нашему собственному пути. Несколько человек было на дозоре на верху мачты, но они не видели нашей лодки до тех пор, когда уже не было возможности избежать столкновения, – их крики предупреждения, когда они увидели нас, и были тем, что так ужасно испугало меня. Огромный корабль, сказали мне, проплыл над нами с такой же легкостью, как если бы наше собственное суденышко прошло над пером, – без малейшего заметного препятствия в своем ходе. Ни вскрика не раздалось с палубы погибающих: был слышен только слабый скрипящий звук, смешавшийся с ревом ветра и воды, когда хрупкая лодка, будучи поглощена, на минуту проскребла вдоль киля днище своего разрушителя; и это было все. Думая, что наша лодка (которая, как нужно припомнить, была без мачты) просто остов, плывущий по воле ветра, капитан (капитан Э. Т. В. Блок из Нью-Лондона) хотел продолжать свой путь, не беспокоясь больше о случившемся. К счастью, двое было на посту, и они положительно клялись, что видели кого-то у нашего руля, и утверждали, что еще возможно спасти этого человека. Последовало обсуждение, но Блок рассердился и сказал: «Не его дело вечно следить за яичными скорлупами, корабль он не будет поворачивать из-за такой бессмыслицы; а если и есть какой-нибудь утопающий, так это ничья вина, как его собственная; он может тонуть, и черт бы его побрал» – или что-то в этом роде. Хендерсон, штурман, опять поднял этот вопрос, справедливо возмущенный, так же как и весь экипаж корабля, речью капитана, которая доказывала жестокое бессердечие. Штурман говорил начистоту, чувствуя себя поддерживаемым своими людьми, и сказал капитану, что почитает его достойным виселицы и что ослушается его приказаний, даже если бы он должен был быть повешен за это в тот самый миг, как ступит на берег. Он быстро шагнул назад, толкнув Блока в сторону (тот сильно побледнел и ничего не ответил), и, ухватив руль, отдал команду твердым голосом: «Руль под ветер!» Люди устремились на свои посты, и корабль быстро повернул на другой галс. Все произошло приблизительно в пять минут, и было вряд ли возможно кого-нибудь спасти, если допустить, что кто-нибудь был на борту лодки. Все же, как это видел читатель, мы оба, Август и я, были спасены; и наше спасение казалось следствием одной из тех непонятных счастливых случайностей, которые приписываются людьми мудрыми и набожными особому вмешательству Провидения.

Пока корабль еще поворачивался, штурман спустил четверку и прыгнул в нее с двумя матросами, я думаю, теми самыми, которые говорили, что видели меня у руля. Они только что оставили подветренную сторону судна (луна все еще светила ярко), как вдруг корабль сильно и длительно качнулся к наветренной стороне и Хендерсон в тот же самый миг вскочил на своем месте и крикнул матросам: «Задний ход!» Он ничего не хотел сказать другого, с нетерпением повторяя: «Задний ход! Задний ход!» Люди направились назад так скоро, как только было возможно; но в это время корабль повернул и пошел прямым ходом вперед, хотя на корабле делали страшные усилия, чтобы уменьшить паруса. Несмотря на опасность попытки, штурман уцепился за грот-руслени, как только он мог их достать.

Другое сильное накренивание корабля вывело теперь правую сторону судна из воды приблизительно до киля, и причина того, что штурман был в таком волнении, стала вполне ясной.

Тело человека было видно, прикрепленное самым необычайным образом к гладкому и блестящему дну («Пингвин» был выслан медью и укреплен медными скрепами), и при каждом движении корпуса корабля тело сильно ударялось о днище. После нескольких напрасных усилий, делаемых при каждом накренивании корабля, с неминуемым риском опрокинуть лодку, меня, ибо это было мое тело, наконец высвободили из опасного положения и взяли на борт корабля. Оказалось, что один из скрепляющих стержней, проломав медь и выдвинувшись наружу, задержал мое тело под кораблем и прикрепил меня столь необычайным образом к его дну. Верхушка стержня проткнула воротник зеленой байковой куртки, которая была на мне, и через заднюю часть шеи, между двух сухожилий, вышла как раз под правым ухом. Меня тотчас положили в постель, хотя моя жизнь, казалось, совершенно угасала. На корабле не было врача. Капитан, однако, выказал мне всевозможное внимание, чтобы искупить, как я полагаю, в глазах своего экипажа бесчеловечное свое поведение в предыдущей части происшествия.

В это же самое время Хендерсон опять отчалил от корабля, несмотря на то что ветер теперь был почти ураганным. Он не проплыл и нескольких минут, как наткнулся на обломки нашей лодки, а вскоре один из людей, бывших с ним, стал утверждать, что в промежутках между ревом бури он может различить крик о помощи. Это побудило бесстрашных моряков продолжать поиски еще в течение более получаса, несмотря на то что капитан Блок давал повторные сигналы к возвращению и каждое мгновение в хрупкой лодке им угрожала неминуемая и смертельная опасность. Правда, почти невозможно понять, как эта малая четверка, в которой они находились, могла хоть одно мгновение противостоять гибели. Она была, однако, построена для китобойной службы и была снабжена, как я потом имел основание думать, вместилищами для воздуха, на манер некоторых спасательных лодок, употребляющихся на прибрежье Уэльса.

После безуспешных поисков в продолжение упомянутого времени было решено вернуться на корабль. Не успели они прийти к этому решению, как раздался слабый крик от темного предмета, с быстротой проплывавшего мимо них. Погнавшись за ним, они вскоре настигли его. Оказалось, это был цельный дек коморки «Ариэля». Август барахтался около него, по-видимому, в последней агонии. Когда он был вытащен, заметили, что он привязан веревкой к держащемуся на воде ребру лодки. Эту веревку, как нужно припомнить, я сам обвязал вокруг его поясицы и прикрепил к железному кольцу, чтобы удержать его выпрямленным, и то, что я сделал, как оказалось, в конце концов спасло ему жизнь. «Ариэль» был легко построен, и, идя ко дну, его сруб естественно разлетелся на куски; дек коморки, как можно предположить, был оторван от главного сруба силой воды, которая устремилась внутрь, и всплыл (с другими обломками, без сомнения) на поверхность – Август держался на поверхности вместе с ним и таким образом избег ужасной смерти.

Когда его взяли на борт «Пингвина», прошло более часа, прежде чем он мог опомниться или понять, что произошло с нашей лодкой. Наконец он вполне пробудился и много говорил о своих ощущениях тех минут, когда находился на воде. Впервые он пришел до некоторой степени в сознание, когда увидел себя под водой, с непостижимой быстротой вращающимся кругом и кругом, а веревка тремя или четырьмя перехватами туго обвивала его шею. Через мгновение он почувствовал, как быстро поднимается кверху и как вдруг голова его сильно ударилась обо что-то твердое, и он опять впал в беспамятство. Снова придя в себя, он уже более овладел своим рассудком, который, однако же, в величайшей степени был помрачен и спутан. Теперь он знал: что-то случилось и он оказался в воде, хотя рот его находился над поверхностью и он мог дышать довольно свободно. Возможно, в это время дек быстро несся по ветру и тащил его за собой, плывущего на спине. Конечно, пока он мог держаться в этом положении, было почти невозможно, чтобы он утонул. Вдруг большой вал бросил его поперек дека, где он и старался удержаться, время от времени крича о помощи. Как раз перед тем, когда его нашел мистер Хендерсон, он обессилел и принужден был отпустить то, за что дер-

жался, и, падая в море, счел себя погибшим. В продолжение всего времени, пока он боролся с волнами, у него не было даже самого слабого воспоминания об «Ариэле» или о чем-нибудь связанном с причиной его злополучия. Смутное чувство ужаса и отчаяния вполне завладело его умственными способностями. Когда он наконец был выловлен, все силы ума оставили его, и, как было сказано раньше, лишь через час приблизительно, после того как его взяли на борт «Пингвина», он вполне сознал свое положение.

Что касается меня, я был воскрешен из состояния, граничащего весьма близко со смертью (всевозможные средства применялись напрасно в продолжение трех с половиной часов), сильным растиранием фланелью, намоченной в горячем масле, – средство, присоветованное Августом. Рана на шее, несмотря на ее безобразный вид, оказалась в действительности маловажной, и я скоро поправился.

«Пингвин» вошел в гавань около девяти часов утра, встретив один из сильнейших штормов, когда-либо виданных около Нантакета. Август и я изловчились так, чтобы явиться к мистеру Барнарду завтракать вовремя; завтрак, по счастью, немного запоздал вследствие вчерашней вечеринки. Я думаю, что все, кто был за столом, сами были слишком утомлены, чтобы заметить наш измученный вид, который, конечно, был бы вполне усмотрен при сколько-нибудь внимательном наблюдении. Школьники, однако, могут совершать чудеса обмана, и, я уверен, ни один из наших друзей в Нантакете не имел ни малейшего подозрения, что ужасная история, которую рассказывали в городе моряки о том, как они потопили тридцать – сорок горемык, имела какое-либо отношение к «Ариэлю», к моему товарищу или ко мне самому. Впоследствии мы оба очень часто говорили о случившемся – но никогда без содрогания. В одной из наших бесед Август чистосердечно признался мне, что никогда во всей своей жизни не испытал такого мучительного чувства смятения, как тогда в нашей маленькой лодке, когда он заметил всю силу своего опьянения и почувствовал себя ослабевающим под его влиянием.

Глава вторая

Ни при каком понесенном ущербе мы не можем вывести с полной уверенностью никаких заключений «за» или «против» даже из самых простых данных. Можно было бы предположить, что катастрофа, о которой я только что рассказал, вполне охладила мою зарождавшуюся страсть к морю. Напротив, я никогда не испытывал более пламенного стремления к безумным приключениям в жизни моряка, чем неделю спустя после нашего чудесного спасения. Этого короткого промежутка времени оказалось вполне достаточно, чтобы стереть из моей памяти все тени и явить в ярком свете все радостно возбуждающие красочные пятна, всю живописность недавнего опасного происшествия. Мои разговоры с Августом день ото дня становились все более частыми и все более полными интереса.

У него была особая манера рассказывать свои повествования об океане (добрая половина которых, как я теперь предполагаю, была сущим вымыслом), с помощью ее он завладевал моим восторженным темпераментом и несколько мрачным, хотя и пламенным, воображением. Странно еще то, что он наиболее сильно захватывал мои чувства в пользу жизни моряка, когда описывал самые страшные минуты страдания и отчаяния. К светлой стороне живописания у меня была ограниченная симпатия. Мои мечты устремлялись к кораблекрушению и голоду, к смерти или плену среди варварских племен, к влачению жизни в скорби и слезах на какой-нибудь серой пустынной скале в недоступном и неведомом океане; такие мечты или желания – ибо мечты доходили до желания, – как я уверился с тех пор, свойственны всей многочисленной породе меланхоликов среди людей. В то время, о котором я говорю, я смотрел на это лишь как на пророческие проблески судьбы, к выполнению которой я чувствовал себя до некоторой степени предназначенным. Август совершенно вошел в образ моего мышления. Вероятно, на самом деле наши интимные беседы кончились частичным обменом характеров.

Приблизительно восемнадцать месяцев спустя после того, как погиб «Ариэль», фирма «Ллойд и Реденбург» (дом некоторым образом, как я полагаю, связанный с господами Эндерби в Ливерпуле) предприняла починку двухмачтового судна «Грампус» и приспособила его для китобойного плавания. Это было старое, изношенное судно, едва пригодное к морской службе, даже тогда, когда для него было сделано все, что только возможно. Мне трудно понять, почему его предпочли другим хорошим судам, принадлежавшим тем же владельцам, но это было так. Мистеру Барнарду было поручено им командовать, и Август ехал с ним. Когда бриг был в починке, Август часто соблазнял меня благоприятным случаем, представлявшимся для того, чтобы удовлетворить мое желание путешествовать. Он нашел во мне отнюдь не неохотного слушателя. Однако же это не так легко было устроить. Мой отец не противился прямо, но мать впадала в истерику при одном упоминании о таком намерении, а главное, мой дед, от которого я ожидал многого, поклялся, что не оставит мне ни гроша, если я когда-нибудь еще буду распространяться при нем на эту тему. Трудности, однако, вместо того чтобы уменьшить мое желание, подливали только масла в огонь. Я решил ехать во всяком случае; и, после того как я сообщил Августу о своем намерении, мы принялись за выполнение плана.

В то же время я воздерживался говорить о путешествии с кем-либо из моих родственников, и, так как я с показным усердием принялся за свои обычные занятия, было предположено, что я оставил мое намерение. После я часто рассматривал мое поведение в этом случае с чувством неудовольствия, так же как и удивления. Глубокое лицемерие, которое я употребил для выполнения моего проекта, – лицемерие, распространявшееся на каждое слово, на каждый поступок моей жизни в продолжение такого долгого времени, – могло сделаться сколько-нибудь извинительным для меня лишь в силу безумного и пылкого ожидания, с которым я мечтал о выполнении моих давно лелеемых видений путешествия.

При осуществлении моего обманного плана я по необходимости должен был предоставить многое изобретательности Августа, который большую часть дня был занят на «Грампусе», помогая своему отцу по части кое-каких устройств в каюте и трюме. Ночью все же мы были уверены, что беседа у нас будет и мы будем говорить о своих надеждах. Приблизительно после месяца, проведенного таким образом, не натолкнувшись поначалу ни на какой выполнимый план, под конец Август сказал мне, что пришел к необходимому решению. У меня был родственник, живший в Нью-Бедфорде, некий мистер Росс, в доме которого я имел обыкновение проводить иногда две-три недели подряд. Бриг должен был отплыть около середины июня (июнь 1827), и мы решили, что за день или за два до его отправления в море мой отец получит, как обыкновенно, письмо от мистера Росса с просьбой, чтобы я приехал и провел недели две с Робертом и Эмметом (его сыновьями). Август брал на себя устроить так, что письмо будет написано и доставлено моему отцу. Выехав, как предполагалось, в Нью-Бедфорд, я должен был присоединиться к моему товарищу, который устроил бы мне прибежище на «Грампусе», чтобы укрыться. Это потаенное место, он уверял меня, было устроено довольно удобно для пребывания в нем на несколько дней, пока я не должен был показываться. После того как бриг отойдет настолько далеко, что о возвращении назад не сможет быть и речи, я устроюсь со всем комфортом в каюте, сказал он, а что до его отца, так он только от всего сердца посмеется этой проделке. Нам встретится достаточное количество судов, с которыми может быть послано письмо домой, объясняющее происшествие моим родителям.

Половина июня настала наконец, и все было готово. Письмо было написано и доставлено, и раз утром в понедельник я покинул дом, чтобы ехать, как все предполагали, в Нью-Бедфорд с пассажирским судном. Меж тем я отправился прямо к Августу, который ожидал меня на углу одной улицы. По нашему первоначальному плану я должен был скрываться до сумерек и после проскользнуть на борт брига; но густой туман благоприятствовал нам, и решено было не терять времени на утайку. Август отправился к пристани, я следовал за ним на небольшом расстоянии, завернувшись в толстый морской плащ, который он принес с собой, так что узнать меня было нелегко. Как раз когда мы завернули за второй угол, пройдя колодец мистера Эдмунда, кто бы мог появиться и стать передо мной, смотря мне прямо в лицо, как не старый мистер Питерсон, мой дед! «Господи помилуй! В чем дело, Гордон? – сказал он после долгой паузы. – Почему, почему на тебе... чей это грязный плащ?» – «Сэр! – отвечал я, изображая так хорошо, как только мне позволяло замешательство того мгновения, оскорбленное удивление и говоря грубейшим голосом, какой только можно себе представить. – Сэр! Вы совершенно ошибаетесь; прежде всего, имя мое совсем не сродни с Геддэном, а потом, вы бы лучше протерли себе глаза... сам неряха, а называет грязным мое новое пальто!» Клянусь, я с трудом мог удержаться, чтобы не разразиться пронзительным смехом: так чудно воспринял старый джентльмен эту щедрую головомойку. Он отступил шага на три, сначала побледнел, потом сильно покраснел, вскинул свои очки, потом опустил их и бросился на меня с поднятым зонтиком. Однако вдруг остановился, как бы пораженный каким-то внезапным воспоминанием, и тотчас, повернув кругом, заковылял вниз по улице, трясясь все время от бешенства и бормоча сквозь зубы: «Дело не пойдет... новые стекла... думал, что это Гордон... проклятый бездельник Том... этакая орясина».

Едва спасшись от опасности, мы продолжали путь с большей осторожностью и благополучно достигли назначенного места. Лишь два-три человека, занятых спешной работой, делали что-то на передней части корабля. Капитан Барнард, мы знали это достоверно, был приглашен к Ллойд и Реденбургу и должен был пробыть там до позднего вечера, так что на его счет нам нечего было беспокоиться. Август первый вошел на борт корабля, а через некоторое время я последовал за ним, не замеченный работающими. Мы прошли немедленно в каюту и там не встретили никого. Она была устроена самым комфортабельным образом, что несколько необычно для китобойного судна. На судне было еще четыре чудесные офицерские каюты с

широкими и удобными койками. Я заметил еще большую печь и удивительно толстый ценный ковер, покрывавший пол каюты и офицерских помещений. Потолок был вышиною в полных семь футов, и, в общем, все показалось мне больших размеров и лучше, чем я ожидал. Август, однако, недолго позволил мне рассматривать все: необходимо было спрятаться возможно скорее. Он направился в свою собственную каюту на правой стороне брига, рядом с переборкой. Войдя, он закрыл дверь и запер ее на задвижку. Я подумал, что никогда не видывал комнатки лучше, чем та, в которой я очутился. Она была около десяти футов длины и имела одну только койку, которая, как я сказал раньше, была широка и удобна. Ближе к переборке было пространство в четыре квадратных фута, где находились стол, стул и несколько висячих полок с книгами, главным образом по части путешествий и мореплавания. Было в этой комнате много и других небольших удобств, между ними я не должен забыть про шкаф – или холодильник, – в котором Август показал мне множество вкусовостей по части питья и еды.

Он нажал суставом пальца некую точку на ковре в одном из углов упомянутой загородки, указав мне часть пола в шестнадцать квадратных дюймов, ловко вырезанную и опять прилаженную. Когда он нажимал, часть эта приподнималась с одной стороны настолько, чтобы дать ему просунуть палец вниз. Таким образом он приподнял закрышку трапа (к которому ковер был еще прикреплен гвоздиками), и я увидел, что ход ведет в задний трюм. С помощью фосфорных спичек Август тотчас зажег небольшую восковую свечу и, вставив ее в потайной фонарь, стал спускаться с ним в отверстие, сказав мне следовать за ним. Я вошел за ним, он потянул закрышку на отверстие с помощью гвоздя, вогнанного в нижнюю сторону ее; ковер, конечно, возвратился на свое первоначальное место на полу каюты, и все следы отверстия были скрыты. Восковая свеча бросала такой слабый луч, что лишь с величайшим трудом я мог ощупывать дорогу через нагромождение всякого хлама, среди которого очутился.

Мало-помалу, однако, глаза привыкли к темноте, и я продолжал путь с меньшим смущением, держась за полу куртки моего друга. Наконец после ползания и кружения по бесчисленным узким проходам он привел меня к ящику, обитому железом, какие иногда употребляются для укладки тонкого фаянса: около четырех футов вышины, целых шести футов длины, но очень узкому. Два больших пустых бочонка из-под масла лежали на крышке, а на них еще большее количество циновок, наваленных одна на другую до пола каюты. Кругом, во всех других направлениях, был тесно нагроможден до самого потолка, в страшнейшем беспорядке, всевозможный корабельный материал, с разнородной смесью плетенок, больших корзин, бочонков и тюков, так что казалось прямо чудом, что мы могли найти хоть какой-нибудь проход к ящику. После я узнал, что Август намеренно устроил такую нагрузку в трюме – с целью приготовить мне настоящий тайник, имея только одного помощника, человека, который не отплывал на бриге.

Мой товарищ показал мне, что одна сторона ящика по желанию могла быть сдвинута. Он заставил ее соскользнуть в сторону и показал мне внутреннее помещение, чем я был превесьма позабавлен. Матрац с одной из коек каюты покрывал целиком дно ящика, и там находились всевозможные предметы настоящего комфорта, какие только могли поместиться в таком малом пространстве, в то же время предоставляя мне достаточно места, чтобы устроиться или в сидячем положении, или в лежачем во весь рост. Среди других вещей там было несколько книг, перья, чернила и бумага, три шерстяных одеяла, большой кувшин, полный воды, бочонок морских сухарей, три или четыре огромные болонские колбасы, громадный окорок, холодная баранья нога и полдюжины бутылок целительных настоек и крепких напитков. Я тотчас вступил в обладание моим маленьким обиталищем, и с чувством большего довольства, чем то, какое, я уверен, испытывает монарх, входя в новый дворец. Август указал мне способ закреплять открывавшуюся стенку ящика и потом, держа свечу близко к деку, показал конец темной бечевки, которая проходила вдоль него. Она была протянута, сказал он, от моего убежища, через все необходимые извилины среди хлама, к гвоздю, вогнанному в дек трюма, как раз под

дверью трапа, ведущего в его каюту. С помощью этой бечевки я мог хорошо найти дорогу и выйти без его помощи, если бы какой-нибудь непредвиденный случай сделал такой шаг необходимым. Затем он ушел, оставив фонарь с обильным запасом свечей и фосфора и обещая навещать меня так часто, как только сможет, не вызывая чужого внимания. Было семнадцатое июня.

Я оставался в моем тайнике три дня и три ночи (как приблизительно я мог заключить), не выходя из него, исключая два раза, что я сделал, дабы расправить члены, стоя выпрямившись между двух плетенок, как раз против отверстия. В продолжение всего этого времени я ничего не знал об Августе, но мало тревожился, ибо мне было известно, что бриг каждый час намеревался выйти в море и в суете мой друг нелегко мог найти удобный случай спуститься ко мне. Наконец я услышал, как трап открылся и закрылся, и сейчас же Август позвал меня тихим голосом, спрашивая, все ли благополучно и не нужно ли мне чего-нибудь. «Ничего, – ответил я. – Мне так удобно, как только может быть; когда бриг отплывает?» – «Он снимется с якоря скорее чем через полчаса, – отвечал он. – Я пришел дать тебе знать об этом и сказать, чтобы ты не тревожился о моем отсутствии. Некоторое время у меня не будет возможности спускаться вниз – может, приду не раньше трех-четырёх дней. Все идет хорошо наверху. Когда я уйду туда и закрою трап, проползи вдоль бечевки до места, где вогнан гвоздь. Ты найдешь там мои часы, они тебе пригодятся, а то у тебя нет дневного света, чтобы узнавать по нему время. Я думаю, ты не можешь сказать, как долго ты был погребен – только три дня, сегодня двадцатое. Я бы принес часы к твоему ящику, да боюсь, меня хватятся». С этим он ушел.

Полчаса спустя после его ухода я ясно почувствовал, что бриг в движении, и поздравил себя с прекрасно начатым наконец путешествием. Довольный этой мыслью, я решил настроить мой ум возможно веселее и ожидать, когда ход событий настолько двинется вперед, что мне будет позволено переменить ящик на более обширное, хотя и вряд ли более удобное, помещение каюты. Моей первой заботой было достать часы. Оставив свечу зажженной, я ошупью стал пробираться в темноте, следуя по бечевке, вдоль по бесчисленным извилинам; некоторыми, после того как я долгое время пробирался, я был снова приведен назад, на фут или два от прежнего места. Наконец я достиг гвоздя и, обеспечившись предметом моего странствия, благополучно возвратился с ним. Теперь я стал рассматривать заботливо приготовленные книги и выбрал экспедицию Льюиса и Клерка к устью Колумбии. Я услаждался этим некоторое время, пока на меня не напала дремота, и, потушив свечу с большой осторожностью, я вскоре погрузился в крепкий сон.

Проснувшись, я почувствовал странную спутанность в своем мозгу, и протекло некоторое время, прежде нежели я мог припомнить все разнообразные обстоятельства моего положения. Постепенно, однако, я вспомнил все. Я зажег свет и посмотрел на часы, но они остановились, следовательно, не было возможности определить, как долго я спал. Члены мои сильно свела судорога, и я принужден был дать им отдых, стоя между корзин. Вдруг почувствовав почти бешеный голод, я вспомнил о холодной баранине, которой я несколько поел перед тем, как заснуть, и которую нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что она была в состоянии полного разложения. Это обстоятельство привело меня в большое беспокойство, ибо, сопоставляя это со спутанностью моего ума, которую я испытывал, проснувшись, я начал предполагать, что, верно, я спал в продолжение необычайно долгого времени. Спертая атмосфера трюма могла тут что-нибудь да значить и в конце концов могла привести к самым серьезным последствиям. У меня ужасно болела голова, мне казалось, что каждый раз я с трудом перевожу дыхание, – словом, я был подавлен множеством мрачных ощущений. Тем не менее я не мог рискнуть поднять тревогу, открыв трюм или иначе, и потому, заведя часы, удовольствовал себя, как умел.

В продолжение всех следующих томительных двадцати четырех часов никто не пришел мне на помощь, и я не мог не обвинять Августа в грубейшем невнимании. Главным образом

беспокоило меня, что вода в кувшине уменьшилась до половины пинты, и я очень страдал от жажды, ибо щедро поел болонской колбасы, утратив мою баранину. Мне стало очень не по себе, и я не мог больше интересоваться книгами. Кроме того, меня обременяло желание спать, и я дрожал при мысли поддаться этому, из опасения, что здесь, в спертom воздухе трюма, могло быть вредное влияние, как от горящего древесного угля. Меж тем ровная качка брига говорила мне, что мы были далеко в открытом океане, и глухой гудящий звук, который достигал моего слуха как бы на огромном расстоянии, убедил меня, что дул бурный ветер. Я не мог объяснить себе причины отсутствия Августа. Мы, конечно, достаточно далеко ушли вперед в нашем плавании, чтобы позволить мне подняться наверх. С ним могло что-нибудь случиться, но я не мог придумать ни одного обстоятельства, которое объяснило бы, почему он так долго держит меня узником, исключая одно: он внезапно умер или упал за борт, а на этой мысли я не мог остановиться без содрогания. Возможно, мы были задержаны переменными противными ветрами и находились еще в недалеком расстоянии от Нантакета. Однако я должен был оставить подобное предположение: будь это так, бриг часто поворачивал бы на другой галс; а видя его непрерывное накренивание к левой стороне, я твердо заключил, что он плывет прямым путем, подгоняемый стойким и свежим ветром, дувшим на него с правой кормовой части. С другой стороны, допуская, что мы были еще недалеко от острова, почему бы Августу не навестить меня и не сообщить об этом обстоятельстве? Размышляя таким образом о трудностях моего одинокого и безрадостного положения, я решил ждать теперь еще в продолжение других двадцати четырех часов, и если не получу помощи, то пройти к трапу и попытаться затеять переговоры с моим другом или хотя бы подышать свежим воздухом через отверстие и снабдить себя водой в его каюте. Меж тем как я был занят этими мыслями, несмотря на все усилия, я погрузился в состояние глубокого сна или скорее оцепенения. Сны мои были самого чудовищного характера. Всевозможного рода бедствия и ужасы напали на меня.

Среди других злосчастий я был до смерти удушаем между огромных подушек демонами – привидениями самого свирепого и страшного вида. Огромные змеи держали меня в своих тисках и внимательно смотрели мне в лицо своими страшными блестящими глазами. Потом пустыни, безграничные, безнадежные, потерянные и грозно внушительные, расстилались передо мной. Необъятно высокие стволы деревьев, серых и безлиственных, вздымались в бесконечном ряду так далеко, как только мог достичь глаз. Их корни были скрыты в далеко расстилавшихся болотах, мрачные воды которых лежали напряженно черные, тихие и страшные. И странные деревья, казалось, наделены были человеческой жизненностью и, размахивая своими скелетами-руками, зывали к безгласным водам о милосердии в пронзительно резких звуках острой агонии и отчаяния. Картина изменилась, и я стоял, нагой и одинокий, среди раскаленных равнин Сахары. У моих ног лежал, припав к ним, свирепый лев тропиков. Вдруг его безумно дикие глаза открылись и взгляд упал на меня. Судорожным скачком он вспрыгнул, встал на ноги и обнажил свои ужасающие зубы. Еще миг, и из его красной глотки вырвался рев, подобный грому с небосвода, и я упал стремительно на землю. Задыхаясь в судороге ужаса, я наконец почувствовал себя отчасти пробудившимся. Мой сон, значит, не вовсе был сном. Теперь, по крайней мере, я овладел моими чувствами. Лапы громадного настоящего чудовища сильно давили мне грудь, его горячее дыхание было в моих ушах, и его белые и страшные клыки блестели надо мной сквозь темноту.

Если бы тысяча жизней зависела от того, двину ли я рукой или ногой или произнесу хоть один звук, я не мог бы ни двинуться, ни заговорить. Зверь, какой бы он ни был, оставался в том же положении, не пытаясь оказать какое-нибудь немедленное насилие, между тем я лежал в полной беспомощности, и мне казалось, что я умираю под ним. Я чувствовал, что все силы ума и тела быстро оставляют меня – одним словом, я погибаю, и погибаю от ужаса. Голова у меня шла кругом – мной овладела смертельная дурнота, зрение помутилось, даже сверкающие надо мной глаза зверя стали туманными. Сделав последнее усилие, я наконец устремил робкую,

но жаркую мольбу к Богу и приготовился умереть. Звук моего голоса, казалось, разбудил всю скрытую ярость зверя. Он бросился на мое тело; но каково было мое удивление, когда, долго и тихо повизгивая, он стал лизать мое лицо и руки с самыми необычными проявлениями привязанности и радости! Я был ошеломлен, совершенно потерялся в изумлении, но я не забыл особенного визга моего ньюфаундленда Тигра и особенную манеру его ласки, которую я знал хорошо. Это был он. Я почувствовал мгновенный прилив крови к вискам – головокружительное и захватывающее чувство освобождения и воскресения. Поспешно я вскочил с матраца и, бросившись на шею моему верному спутнику и другу, облегчил долгую тоску своего сердца потоком самых страстных слез.

Как и в предыдущем случае, когда я встал с матраца, мои восприятия были в состоянии величайшей неясности и спутанности. В продолжение долгого времени мне было почти невозможно сколько-нибудь собраться с мыслями; но постепенно, крайне медленно, мои мыслительные способности вернулись, и я опять вызвал в своей памяти различные обстоятельства моего положения. Присутствие Тигра я напрасно пытался объяснить и, после того как построил тысячу различных догадок относительно него, был принужден удовольствоваться радостью, что он со мной разделяет мое мрачное одиночество и что он утешит меня своими ласками. Многие любят своих собак, но к Тигру у меня была привязанность гораздо более страстная, чем то бывает обыкновенно; и, верно, никогда ни одно создание не заслужило ее больше, чем он. В продолжение семи лет он был моим неразлучным спутником и во множестве случаев выказал все те качества, за которые мы ценим животное. Я спас его, когда он был щенком, из когтей злого маленького негодяя в Нантакете, который, обмотав ему веревку вокруг шеи, вел его к воде; и, выросши, собака отплатила за одолжение года через три, спасши меня от дубины уличного бродяги.

Взяв часы и приложив их к уху, я понял, что они опять остановились; но я несколько не был удивлен этим, так как убедился по странному состоянию моих чувств, что я, как и раньше, проспал очень долго; как долго – этого, конечно, невозможно было сказать. Я сгорал от лихорадки, и жажда моя была почти нестерпимой. Я стал искать малый остаток моего запаса воды, ощупывая ящик вокруг себя, ибо у меня не было света, свеча в фонаре выгорела до основания, а коробка спичек не попадалась мне под руку. Однако, нащупав кувшин, я нашел, что он пуст – Тигр без сомнения искусился и вылакал его, он пожрал и остаток баранины, кость которой, хорошо обглоданная, лежала у отверстия ящика. Я мог вполне обойтись без испорченного мяса, но сердце у меня упало, когда я подумал о воде. Я был так ужасно слаб, что дрожал весь как от приступа перемежающейся лихорадки при малейшем движении или усилии. В придачу к моим беспокойствам бриг кувыркался и качался с носа на корму с большой силой и бочки изпод масла, которые лежали на моем ящике, грозили каждое мгновение упасть, так что закрыли бы единственный путь входа и выхода. Я чувствовал также ужаснейшее страдание от морской болезни. Это обстоятельство понудило меня во что бы то ни стало попытаться пробраться к трапу и получить немедленную помощь, прежде нежели я совершенно лишусь способности сделать это. Придя к такому решению, я опять стал ощупью искать коробку спичек и свечи. Коробку я нашел без особого труда, но, не находя свечей так скоро, как я предполагал (ибо я помнил очень хорошо место, куда их положил), я на время оставил поиски и, приказав Тигру лежать тихо, предпринял немедля мое странствие к трапу.

При этой попытке моя великая слабость сделалась более, чем когда-либо, явной. С величайшим трудом я мог ползти вперед, и очень часто руки и ноги внезапно изменяли мне; тогда, падая лицом вниз, я оставался несколько минут в состоянии, граничащем с бесчувствием. Все же я с усилием пробирался понемногу вперед, боясь каждое мгновение, что лишусь чувств среди узких запутанных извилин нагроможденного груза, в каковом случае я не мог ожидать ничего иного, кроме смерти. Под конец толкнувшись вперед со всей энергией, которой мог располагать, я сильно ударился лбом об острый угол корзины, обитой железом. Это происше-

ствие только ошеломило меня на несколько мгновений, но, к моему несказанному огорчению, я увидел, что быстрая и сильная качка судна сбросила корзину поперек моего пути, так что она совершенно загородила проход. Делая величайшие усилия, я не мог сдвинуть ее ни на один дюйм с места, ибо она была плотно стиснута окружающими ящиками и корабельным материалом. Потому, при тогдашней моей слабости, сделалось необходимым, чтобы я или оставил путь, указываемый бечевкой, и отыскал новый проход, или перелез через препятствие и продолжал путь с другой стороны. Первый выбор представлял, кроме всего, слишком много трудностей и опасностей, чтобы я мог подумать об этом без содрогания. При моем теперешнем состоянии – слабости ума и тела – я неизбежно потерял бы верный путь, если бы решился на это, и жалко погиб бы среди мрачного и отвратительного лабиринта трюма. Поэтому я без колебания собрал весь остаток своей храбрости и сил, чтобы постараться, как только станет возможно, перелезть через корзину.

Меж тем, как только я встал прямо, имея в виду двинуться дальше, я увидел, что предприятие это даже более серьезная задача, чем мой страх мог это мне представить. С каждой стороны узкого прохода поднималась целая стена разнообразного тяжелого груза, который при малейшей моей неосторожности мог упасть мне на голову; или, не случись этого, путь мог быть загорожен вновь свалившейся кучей, как это было теперь с препятствием, находившимся передо мной. Сама корзина – длинное тяжеловесное вместилище, о нее невозможно было бы упереться ногой. Напрасно я старался изо всех сил, которые были в моей власти, достать до крышки, с надеждой, что смогу взобраться вверх. Если бы мне и удалось это, конечно, мои силы были бы вполне недостаточными для выполнения такой задачи, и оказалось во всех отношениях лучше, что это не удалось. Под конец, безнадежно силясь сдвинуть корзину с места, я почувствовал сильное дрожание сбоку от меня. Я с нетерпением сунул руку к краю досок и увидел, что одна очень толстая отставала. Складным ножом, который, по счастью, был со мной, мне удалось с большим трудом приподнять ее вполне, как рычагом, и, проникнув через отверстие, я увидал, к моей чрезвычайной радости, что с противоположной стороны не было досок – другими словами, что крышки не доставало и что я пробил себе дорогу через дно. Теперь без больших затруднений я продолжал двигаться по прямой линии, пока наконец не достиг гвоздя. С бьющимся сердцем я стоял выпрямившись и, тихо дотронувшись до крышки трапа, надавил на нее. Она не поднялась так скоро, как я ожидал, и я надавил с несколько большею решительностью, хотя опасался, как бы в каюте кроме Августа не было еще кого другого. Дверь, однако, к моему удивлению, оставалась неподвижной, и я стал беспокоиться, ибо знал, что раньше вовсе не требовалось усилия или нужно было малое усилие для того, чтобы ее сдвинуть. Я сильно толкнул ее – тем не менее она оставалась неподвижной; толкнул изо всей силы – она все еще не подавалась; с бешенством, с яростью, с отчаянием – она издевалась над всеми моими усилиями; и по неподдающемуся упорству было очевидно: или отверстие было усмотрено и совершенно заколочено, или на него поместили огромную тяжесть, которую напрасно было бы думать сдвинуть.

Мои ощущения были ощущениями величайшего ужаса и смятения. Напрасно старался я объяснить себе, какова вероятная причина того, что я был таким образом погребен. Я не мог собрать мысли в связную цепь и, опустившись на пол, предался неудержимо самым мрачным фантазиям, среди которых мысли об ужасной смерти от жажды, голода, удушения и преждевременных похорон налегли на меня как самые выдающиеся злополучия, которые меня ожидали. Наконец ко мне вернулось некоторое присутствие духа. Я встал и ощупал пальцами шивки или трещины отверстия. Найдя их, я рассмотрел их внимательно, чтобы узнать, пропускают ли они некоторый свет из каюты, но ничего не было видно. Тогда я стал просовывать сквозь них лезвие ножа, пока не встретил какое-то твердое препятствие. Поцарапав его, я увидел, что это был цельный кусок железа; по волнообразному ощущению, которое я испытал, проводя по нему лезвием, я заключил, что это железный канат. Единственно, что оставалось мне, –

возвратиться к ящику и там или отжаться моей печальной участи, или постараться успокоить свой ум настолько, чтобы сделать его годным создать какой-либо план спасения. Я тотчас же принялся за выполнение этого, и после бесконечных трудностей мне удалось вернуться назад. Когда я, совсем обессиленный, упал на матрац, Тигр растянулся во всю длину около меня и, казалось, хотел своими ласками утешить меня в моих огорчениях и побудить меня переносить их с твердостью.

Особливая странность его поведения наконец поневоле приковала мое внимание. После того как в продолжение нескольких минут он лизал мое лицо и руки, он мгновенно прекращал делать это и издавал тихий визг. Когда протягивал к нему руку, я неизменно находил его лежащим на спине лапами кверху. Это поведение, так часто повторяемое, показалось мне странным, и я никаким образом не мог объяснить его себе. Так как собака, казалось, мучилась, я решил, что она ранена, и, взяв ее лапы в руки, я рассмотрел их одну за другой, но не нашел ни следа какого-либо повреждения. Я подумал, что она голодна, и дал ей большой кусок окорока, который она поглотила с жадностью, после, однако, возобновила свои необычайные телодвижения. Тогда я вообразил, что она страдала, как и я, от мучения жажды, и готов был счесть это заключение за верное, как вдруг мне пришла мысль, что до тех пор я рассмотрел только ее лапы и, возможно, что у нее рана где-нибудь на теле или на голове. Я осторожно ощупал голову, но не нашел ничего. Проводя рукой вдоль ее спины, я почувствовал легкое поднятие шерсти, простирающееся поперек спины. Ощупав шерсть пальцем, я нашел шнурок и, проследив его, увидел, что он шел вокруг всего тела. При тщательном исследовании я наткнулся на небольшую узкую полоску, показавшуюся мне на ощупь запиской, через которую шнурок был продет таким образом, что держал ее как раз под левым плечом животного.

Глава третья

Внезапно мне пришло в голову, что это записка от Августа, и, так как некоторая необъяснимая случайность помешала ему освободить меня из моей тюрьмы, он придумал такой способ известить меня об истинном состоянии дел. Дрожа от нетерпения, я снова начал искать фосфорные спички и свечи.

У меня было смутное воспоминание, что я тщательно отставил их в сторону как раз перед тем, как заснуть; и на самом деле перед последним моим странствием к трапу я был способен припомнить точное место, где я положил их. Но теперь я напрасно пытался вызвать в уме воспоминания об этом и хлопотал целый час, находясь в бесплодных и мучительных поисках недостающих вещей; никогда, конечно, не испытывал я более терзающего состояния тревоги и недоумения. Наконец, пока я ощупывал кругом, держа голову совсем вплоть к балласту, около отверстия ящика и вне его, я заметил слабое мерцание света по направлению к тому месту, где находилась каюта. Чрезвычайно удивленный, я попытался пробраться к нему, потому что, как мне казалось, от меня до этого мерцания было лишь несколько шагов. Едва я двинулся с таковым намерением, как совершенно потерял из виду мерцание, и, прежде чем я смог увидеть его опять, я должен был ощупывать вдоль ящика, пока не занял совершенно точно мое прежнее положение. Теперь, осторожно поворачивая голову туда и сюда, я заметил, что, двигаясь медленно, с большим тщанием, в направлении, противоположном тому, в каком я сначала устремился, я получал способность приближаться к свету, имея его перед глазами. Тотчас же я пришел прямо к нему (протеснившись через бесчисленные узкие извилины) и увидел, что мерцание происходило от нескольких обломков моих спичек, лежавших в пустом бочонке, повернутом на бок. Я спрашивал себя, каким образом они сюда попали, как вдруг рука моя наткнулась на два-три куска свечного воска, который, очевидно, был изжеван собакой. Я тотчас заключил, что она пожрала весь мой запас свеч, и чувствовал, что теряю надежду когда-нибудь получить возможность прочесть записку Августа. Небольшие остатки воска были так передавлены среди другого мусора в бочонке, что я отчаялся извлечь из них какую-нибудь пользу и оставил их так, как они были. Фосфор, которого там было лишь два-три кусочка, я собрал с наивозможной тщательностью и, держа его в руке, кое-как пробрался к моему ящику, где Тигр оставался все это время.

Что нужно было делать теперь, я не мог бы сказать. В трюме была такая непроглядная тьма, что я не мог увидеть собственную руку, как бы близко к лицу ни держал ее. Белая полоска бумаги была едва различима даже тогда, когда я глядел на нее совсем вплоть; наблюдая ее несколько искоса, я нашел, что она делалась до некоторой степени различимой. Таким образом, можно представить, каков был мрак моей тюрьмы, и записка моего друга, если действительно это была записка от него, казалось, могла только ввергнуть меня в еще большее смущение, беспокоя без всякой надобности мой уже ослабленный и потрясенный ум. Напрасно я перебирал в уме целое множество нелепых способов добыть свет – способов, в точности какие был бы способен для подобной цели придумать человек в потревоженном сне, причиненном действием опиума; все способы, каждый по очереди, кажутся дремлющему самыми разумными и самыми нелепыми, то есть соответствуют тому, что рассуждающие или воображительные способности перепархивают поочередно одни над другими. Наконец, одна мысль пришла мне в голову, которая казалась разумной и которая заставила меня подивиться, весьма справедливо, что она не возникла меня раньше. Я положил полоску бумаги на корешок книжного переплета и, собрав вместе обломки фосфорных спичек, которые я принес из бочонка, положил их на бумагу. Потом ладонью руки я потер все это очень быстро, но крепко. Ясный свет распространился немедленно по всей этой поверхности; и если бы на бумаге было что-нибудь написано, мне не представилось бы, я уверен, ни малейшей трудности прочесть письмо. Там не было,

однако, ни слова – ничего, кроме смутной и безутешной белизны; озарение исчезло в несколько секунд, и сердце мое замерло вместе с ним, по мере того как оно погасало.

Я уже раньше говорил неоднократно, что разум мой в течение некоторого предшествовавшего времени был в состоянии, почти граничащем с идиотизмом. Были, конечно, краткие моменты совершенного здравомыслия, а время от времени даже энергии, но их было немного. Нужно помнить, что я в течение нескольких дней, конечно, вдыхал почти чумной воздух замкнутого трюма на китобойном судне и в продолжение значительной части этого времени лишь скудно был снабжен водою. Последние четырнадцать-пятнадцать часов у меня вовсе не было воды, и я также не спал в течение этого времени. Соленая провизия самого возбуждающего свойства была моей главной и после утраты баранины моей единственной пищей, кроме морских сухарей, а эти последние, вполне бесполезные, были слишком сухи и тверды, чтобы быть проглоченными моим распухшим и воспаленным горлом. Я находился теперь в состоянии сильной лихорадки, и во всех отношениях мне было чрезвычайно худо. Этим можно объяснить то обстоятельство, что много жалких часов угнетенности прошло после моего последнего приключения с фосфором, прежде чем во мне возникла мысль, что я рассмотрел только одну сторону бумаги. Я не буду пытаться описать чувство бешенства (ибо думаю, что именно чувство гнева было сильнее всего), когда совершенный мною перворазрядный недосмотр мгновенно сверкнул в моем восприятии. Самая ошибка была бы неважной, если бы не мое сумасбродство и нетерпеливый порыв: в разочаровании, не найдя на полоске бумаги никаких слов, я совершенно ребячески разорвал ее в клочья и бросил прочь, куда – решить было невозможно.

От худшей части дилеммы я был освобожден чутьем Тигра. Найдя после долгих поисков небольшой клочок записки, я приложил его к носу собаки и попытался дать ей понять, что она должна принести мне остальное. К удивлению моему (ибо я не научил ее никакой из обычных проделок, коими эта порода славится), она, по-видимому, сразу поняла, что я разумею, и, пошарив кругом в течение нескольких мгновений, вскоре нашла другую значительную часть записки. Принеся мне ее, Тигр несколько помедлил и, потерявшись носом о мою руку, по-видимому, ждал моего одобрения тому, что он сделал. Я потрепал его по голове, и он немедленно отправился на дальнейшие розыски. Теперь прошло несколько минут, прежде чем он вернулся, но он когда пришел назад, принес с собой длинную полоску, и это оказалось всей недостающей бумагой, ибо записка, по видимости, была разорвана только на три куска. К счастью, я без затруднений нашел те немногие обломки фосфора, которые еще оставались, будучи руководим неясственным мерцанием, еще исходившим от одной-двух частиц.

Мои затруднения научили меня необходимости быть осторожным, и я теперь, не торопясь, подумал, что мне делать. Было весьма вероятно, так я размышлял, что какие-то слова написаны на той стороне бумаги, которая не была осмотрена, – но какая это сторона? Приладив куски один к другому, я не получил в этом отношении никакой разгадки, хотя это обстоятельство уверило меня, что слова (если какие-либо слова тут были) могли бы быть найдены на одной стороне и соединенными надлежащим образом, как они были написаны. Данное обстоятельство тем более необходимо было поставить вне сомнения, что остававшегося фосфора совсем было бы недостаточно для третьей попытки, если бы не удалась та, которую я намеревался сделать теперь. Я положил бумагу на книгу, как раньше, и сидел несколько минут, озабоченно перебирая в мысли все эти обстоятельства. Наконец я подумал, что единственная возможность – это что исписанная сторона могла бы иметь на своей поверхности некоторую неровность, каковую тонкое чувство осязания могло бы позволить мне открыть.

Я решил сделать опыт и очень тщательно провел пальцем по стороне, которая представилась мне сперва, – ничего ощутимого, и я, перевернув бумагу, опять приладил ее на книгу. Снова осторожно провел указательным пальцем вдоль и заметил чрезвычайно слабое, но все еще различимое мерцание, которое возникло по следу пальца. Это, я знал, должно было произойти из каких-нибудь очень маленьких оставшихся частиц фосфора, которым я покрыл

бумагу в первичной моей попытке. Другая, или нижняя, сторона была, значит, той, на которой было написано, если в конце концов что-нибудь оказалось бы там написанным. Снова я перевернул записку и сделал то, что я уже делал раньше. Я потерял фосфор, возник, как и раньше, блеск, но на этот раз несколько строк, написанных крупно и, по видимости, красными чернилами, сделались явственно видимы. Сияние, хотя и достаточно яркое, было лишь мгновенным. Все же, если бы я не был слишком взволнован, у меня было бы совершенно довольно времени перечитать целиком все три фразы, передо мной находившиеся, ибо я увидел, что было их три. В тревоге же и в торопливом желании прочесть их все сразу я успел только прочитать десять заключительных слов, которые предстали таким образом: «...кровью... твоя жизнь зависит от того, чтобы быть в скрытости».

Если бы я был способен увидеть все содержание записки – полное значения увещание, с которым мой друг пытался ко мне обратиться, – это увещание, если бы даже оно разоблачало злополучие самое несказанное, не могло бы, в этом я твердо убежден, напоить мой ум и десятой долей того терзающего и, однако же, неопределимого ужаса, который внушило мне оборванное предостережение, так полученное. И «кровь», это слово всех слов, столь богатое во все времена тайной, и страданием, и страхом, – как явилось оно теперь трижды полным значения, как леденяще и тяжело (будучи оторвано от каких-либо предшествующих слов, чтоб его оценить или сделать его ясным) упали его смутные буквы среди глубокого мрака моей тюрьмы в сокровеннейшие уголки души моей!

У Августа, без сомнения, были добрые основания желать, чтобы я оставался в скрытости, я построил тысячу догадок относительно того, что бы это могло быть, но я не мог придумать ничего, что доставляло бы удовлетворительное разрешение тайны. Как раз после возвращения из последнего моего странствия к трапу и прежде чем мое внимание было отвлечено странным поведением Тигра, я пришел к решению сделать так, чтоб во что бы то ни стало меня услышали те, кто был на корабле, или, если бы я не успел в этом прямо, попытаться прорезать себе путь через кубрик. Полууверенность, бывшая во мне, что я способен выполнить один из двух этих замыслов в последней крайности, придала мне мужества (вряд ли я имел бы его иначе) претерпеть все беды моего положения. Те немногие слова, однако, которые я был способен прочесть, отрезали от меня эти последние пути, и теперь в первый раз я почувствовал все злосчастие своей судьбы. В припадке отчаяния я бросился опять на матрац, на котором приблизительно в продолжение дня и ночи я лежал в некоем оцепенении, облегчаемый только мгновенными пробуждениями рассудка и воспоминания.

Наконец, я еще раз поднялся и стал усиленно размышлять об ужасах, меня окружавших. Существовать еще двадцать четыре часа без воды было бы только едва возможно – на дальнейшее время возможность прекращалась. В первое время моего заключения я свободно пользовался крепительными напитками, которыми Август снабдил меня, но они только возбуждали лихорадку, ни в малейшей степени не утоляя жажду. У меня оставалось теперь лишь около четверти пинты крепкой персиковой настойки, которую желудок мой не принимал. Колбасы были совершенно истреблены; от окорока ничего не оставалось, кроме небольшого куска кожуры; а сухари, за исключением немногих обломков одного, были съедены Тигром. Во усиление моей тревоги головная боль с минуты на минуту увеличивалась, а с нею некоторого рода бред, который мучил меня более или менее с тех пор, как я впервые заснул. Уже несколько часов, как я мог дышать вообще лишь с большим трудом, теперь же каждая попытка дыхания сопровождалась самым мучительным судорожным сокращением грудной клетки. Но был еще другой – и совершенно иной – источник беспокойства, и поистине эти терзающие ужасы были главным обстоятельством, заставившим меня очнуться от оцепенения. Ужас был связан с поведением собаки.

Впервые я заметил изменение в ее повадке, когда растер фосфор на бумаге, пытаюсь в последний раз прочесть записку. Когда я растирал его, собака сунулась носом к моей руке и

слегка огрызнулась, но я был слишком возбужден, чтобы обратить на это обстоятельство особое внимание. Вскоре после того, да не будет это забыто, я бросился на матрац и впал в некоторого рода летаргию. Тут я заметил какой-то особенный свистящий звук совсем около моего уха и убедился, что его издавал Тигр, который тяжело дышал и храпел в состоянии величайшего явного возбуждения, причем глазные его яблоки яростно сверкали во тьме. Я сказал ему несколько слов, он ответил тихим рычанием и после этого замолк. Тут я впал опять в оцепенение, из которого снова был пробужден подобным же образом. Это повторилось три или четыре раза, и, наконец, его поведение исполнило меня таким великим страхом, что я совершенно проснулся. Тигр лежал теперь вплотную к дверце ящика, огрызаясь устрашающим образом, хотя в каком-то пониженном тоне, и скрежеща зубами, как если бы находился в сильных конвульсиях. Я нимало не сомневался, что недостаток воды или спертый воздух трюма вызвали в нем бешенство, и был в полном недоумении, что теперь предпринять. Мысль убить его была для меня невыносима, однако же это казалось безусловно необходимым для моей собственной безопасности. Я мог явственно видеть, что его глаза были прикованы ко мне с выражением самой смертельной враждебности, и каждое мгновение я ждал, что он бросится на меня. Наконец, я не мог больше выносить страшного моего положения и решился проложить себе дорогу из загородки во что бы то ни стало, если же его сопротивление вынудит меня к тому, убить его. Чтобы выбраться вон, я должен был пройти как раз над его туловищем, и он, по видимому, уже усмотрел мое намерение, приподнялся на передние лапы (что я заметил по изменившемуся положению его глаз) и явил целиком свои белые клыки, которые были легко различимы. Я взял остатки кожеры от окорока и бутылку с водкой и приспособил их на себе вместе с большим ножом-резаком, который Август оставил мне, после этого, закутавшись в плащ так плотно, как это было возможно, я сделал движение к отверстию ящика. Но едва я его сделал, как собака с громким рычанием бросилась к моему горлу. Вся тяжесть ее тела ударила меня в правое плечо, и я с силой упал на левое, между тем как взбешенное животное прошло мимо меня. Я упал на колени, голова моя вся закуталась в шерстяные одеяла, и они-то предохранили меня от вторичного яростного нападения; я чувствовал, как острые зубы с силою впиываются в шерстяную ткань, окутывающую мою шею, но, к счастью, не могут проникнуть во все ее сгибы. Я был теперь под собакой, и несколько недолгих мгновений должны были целиком предать меня ее власти. Отчаяние придало мне мужества, я смело приподнялся, стяхнул ее с себя, отталкивая изо всей силы и таща за собой одеяла с матраца. Я бросил их теперь на нее, прежде чем она могла выпутаться, выбрался через дверцу и захлопнул ее хорошенько на случай преследования. В этой борьбе, однако, я поневоле выронил кусок ветчинной кожеры, и весь мой запас провианта был теперь сведен до четверти пинты крепкой настойки. Как только это соображение промелькнуло в моем уме, мной овладел один из тех приступов извращенности, которые, можно думать, овладевают при подобных обстоятельствах избалованным ребенком, и, приподняв бутылку к губам, я осушил ее до последней капли и с яростью бросил об пол.

Едва только эхо от звука разбившегося стекла замерло, как я услышал, что имя мое произнесено нетерпеливым, но подавленным голосом, и зов этот исходил со стороны каюты. Столь неожиданным был зов и так напряженно было мое волнение, что напрасно я пытался ответить. Способность речи совершенно покинула меня, и в пытке страха, что друг мой сочтет меня умершим и вернется назад, не попытавшись добраться до меня, я стоял между корзинами около двери загородки, судорожно трепеща всем телом, раскрывая рот и задыхаясь и напрасно стараясь произнести хоть какой-нибудь звук. Если бы тысяча миров зависела от одного слога, я не мог бы его сказать. Теперь было слышно какое-то слабое движение среди нагроможденного хлама, где-то там впереди от того места, где я стоял. Звук стал теперь менее явственным, и потом еще менее явственным, и потом еще менее. Забуду ли я когда-нибудь мои чувства того мгновения? Он уходил – мой друг, мой товарищ, от которого я имел право ждать столь многого, – он уходил, он хотел покинуть меня, он ушел! Он мог оставить меня жалко погибать,

испустить последний вздох в самой ужасной и отвратительной из темниц – и одно слово, один маленький слог мог бы спасти меня, но этого единственного слога я не мог произнести! Я чувствовал, в том я уверен, десять тысяч раз агонию самой смерти. Мозг мой кружился, и я упал в смертельном недуге у края ящика.

Когда я падал, нож-резак выскочил у меня из-за пояса и с треском упал на пол. Никогда никакая волна богатейшей мелодии не вошла так сладостно в мой слух! С напряженнейшей тревогой я слушал, чтоб удостовериться, как подействует этот шум на Августа, ибо я знал, что никто иной, кроме него, не мог звать меня по имени. Все было тихо несколько мгновений. Наконец я опять услышал слово «Артур!», повторенное подавленным голосом, исполненным колебаний. Воскресающая надежда развязала наконец во мне способности речи, и я закричал во все горло: «Август! о, Август!» – «Тс-с! Ради Бога молчи! – ответил он голосом, дрожащим от волнения. – Я буду с тобой сейчас, как только проберусь через трюм». Долгое время я слышал, как он движется среди хлама, и каждое мгновение казалось мне вечностью. Наконец я почувствовал, что его рука на моем плече, и он приложил в то же самое мгновение бутылку с водой к губам моим. Те только, что были мгновенно освобождены из пасти гробницы, или те, что знали нестерпимые пытки жажды при обстоятельствах столь отягощенных, как обстоятельства, стеной сомкнувшиеся вокруг меня в мрачной моей тюрьме, могут составить представление о неизреченной усладе, которую дал мне один долгий глоток богатейшего из всех телесных наслаждений.

Когда я несколько удовлетворил жажду, Август вынул из своего кармана три-четыре холодные вареные картофелины, и я съел их с величайшею жадностью. Он принес с собой также свечу в потайном фонаре, и приятные лучи доставляли мне, пожалуй, не менее радости, чем пища и питье. Но я нетерпеливился узнать причину столь длительного его отсутствия, и он начал рассказывать, что случилось на борту во время моего заключения.

Глава четвертая

Бриг вышел в море, как я и предполагал, около часу спустя после того, как Август оставил мне часы.

Это было двадцатое июня. Нужно припомнить, что тогда я уже находился в трюме три дня, в продолжение этого времени на борту была такая постоянная суета и так много беготни взад и вперед, особенно в каютах, что Август не имел возможности посетить меня без риска, что тайна трапа будет открыта.

Когда наконец он пришел, я уверил его, что мне хорошо, как только может быть, и поэтому следующие два дня он только немного беспокоился на мой счет, все же, однако, выжидая удобного случая спуститься вниз. Только на четвертый день ему представился случай. Несколько раз в продолжение этого времени ему приходило в голову сказать своему отцу о приключении и, наконец, вызвать меня наверх, но мы были еще в близком расстоянии от Нантакета, и по некоторым словам, вырвавшимся у капитана Барнарда, было сомнительно, не вернется ли он тотчас же, если откроет меня на корабле.

Притом, обдумав все, Август (так он мне сказал) не мог представить себе, чтобы я находился в такой крайности или что я в этом случае стал бы колебаться дать ему знать о себе через трап. Итак, обсудив все, он решил оставить меня одного, до того как встретится благоприятный случай навестить меня, не будучи замеченным. Как я сказал прежде, это случилось не ранее четвертого дня после того, как он принес мне часы, и на седьмой после того, как я впервые вошел в трюм. Тогда он сошел вниз, не захватив с собой воды и съестного, имея сначала в виду только привлечь мое внимание и заставить меня выйти из ящика к трапу, после чего он взошел бы в каюту и оттуда передал бы мне вниз припасы.

Когда он с этою целью спустился, то увидел, что я сплю, ибо, оказывается, я храпел очень громко. Из всех соображений, какие по этому поводу я могу делать, это, должно быть, был тот сон, в который я погрузился как раз после моего возвращения с часами от трапа и который, следовательно, длился самое меньшее более чем три дня и три ночи. В последнее время я имел основание, по моему собственному опыту и по уверениям других, узнать о сильном снотворном свойстве зловония, исходящего от старого рыбьего жира, когда он находится в замкнутом помещении; и когда я думаю о состоянии трюма, где я был заключен, и о долгом времени, в продолжение которого бриг служил как китобойное судно, я более склонен удивляться тому, что я вообще пробудился, раз погрузившись в сон, нежели тому, что я мог спать непрерывно в продолжение означенного срока.

Август позвал меня сначала тихим голосом и не закрывая трапа, но я не ответил ему. Тогда он закрыл трап и заговорил более громко и наконец очень громким голосом, я же все продолжал храпеть. Он был в полной нерешительности, что ему сделать. Ему нужно было бы некоторое время, для того чтобы проложить себе путь через нагроможденный хлам к моему ящику, и в это время отсутствие его было бы замечено капитаном Барнардом, который нуждался в его услугах каждую минуту, приводя в порядок и переписывая бумаги, относящиеся к цели путешествия. Поэтому, обдумав все, он решил подняться и подождать другого благоприятного случая, чтобы посетить меня. Он тем легче склонился к этому решению, что мой сон показался ему очень спокойным, и он не мог предположить, чтобы я испытывал какие-либо неудобства от моего заключения. Он только что принял такое решение, как внимание его было приковано какой-то необычной суматохой, шум которой исходил, казалось, из каюты. Он бросился через трап как только мог скоро, закрыл его и распахнул дверь своей каюты. Не успел он перешагнуть через порог, как выстрел из пистолета блеснул ему в лицо, и в то же самое мгновение он был сшиблен с ног ударом ганшпуга.

Сильная рука держала его на полу каюты, крепко сжав за горло, но он мог видеть все, что происходило вокруг него. Его отец был связан по рукам и по ногам и лежал на ступенях лестницы, что возле капитанской каюты, головой вниз, с глубокой раной на лбу, из которой кровь струилась непрерывным потоком. Он не говорил ни слова и, по-видимому, умирал. Над ним стоял штурман, смотря на него с выражением дьявольской насмешки, и спокойно шарил у него в карманах, из которых вытащил большой бумажник и хронометр. Семь человек из экипажа (среди них был повар-негр) обшаривали офицерскую каюту на левой стороне судна, ища оружие, где они вскоре запаслись мушкетам и амуницией. С Августом и капитаном Барнардом в каюте всего-навсего было девять человек – именно те самые, что имели наиболее разбойничий вид из всего экипажа. Негодяи теперь поднялись на палубу, захватив с собой моего друга и связав ему руки за спиной. Они прошли прямо к баку, который был замкнут: двое из бунтовщиков стояли около него с топорами. Штурман закричал громким голосом: «Слышите вы там, внизу? Живо наверх, один за другим... теперь, слушаться... не ворчать!» Прошло несколько минут, прежде нежели кто-либо появился; наконец, один англичанин, который нанялся на судно как новичок, пошел наверх, жалостно плача и умоляя штурмана самым смиренным образом пощадить его жизнь. Единственным ему ответом был удар топором по лбу. Бедняга без стопа упал на палубу, черный повар поднял его на руки, как ребенка, и спокойно швырнул в море. Людей, бывших внизу и слышавших удар и плеск тела, упавшего в воду, не могли принудить выйти на палубу ни угрозами, ни обещаниями, пока не было постановлено выкурить их дымом. Последовала всеобщая схватка, и одно мгновение казалось возможным, что бриг может быть отвоёван. Бунтовщикам, однако, удалось под конец совсем закрыть бак, прежде нежели шестеро из их противников взобрались наверх. Эти шестеро, найдя себя в таком меньшинстве и без оружия, сдались после короткой схватки.

Штурман надавал им обещаний – без сомнения, чтобы склонить тех, что были внизу, уступить, так как они без труда могли слышать все, что говорилось на палубе. Последовавшее доказало его прозорливость не менее, чем и его дьявольское негодяйство. Все бывшие в баке теперь выразили намерение подчиниться и, поднимаясь один за другим, были связаны по рукам и брошены на спину вместе с первыми шестью – из всего экипажа не присоединились к бунту лишь двадцать семь человек.

Последовала самая ужасная бойня. Связанные матросы были притащены к шкафуту. Здесь стоял повар с топором, он ударял каждую жертву по голове, в то время как другие бунтовщики держали ее над закраиной судна. Таким образом погибло двадцать два человека, и Август считал себя пропавшим, ожидая каждое мгновение, что настанет его черед. Но казалось, что негодяи были или утомлены, или до некоторой степени отвращены от своей кровавой работы, ибо исполнение приговора над четырьмя оставшимися узниками вместе с моим другом, который с остальными был брошен на палубу, было отсрочено, меж тем как штурман послал вниз за ромом, и вся шайка убийц устроила пьяную оргию, которая продолжалась до захода солнца. Тут они начали спорить относительно судьбы оставшихся в живых, которые лежали чуть не в двух шагах и могли расслышать каждое сказанное слово. На некоторых бунтовщиков крепкие напитки, по-видимому, оказали умягчающее действие, ибо несколько голов было за то, чтобы освободить пленников всех вместе с условием, чтобы они присоединились к бунту и разделили добычу. Черный повар, однако (который во всех отношениях был совершенным дьяволом и который, казалось, имел столько же влияния, если не больше, чем сам штурман), не хотел слушать такого рода предложений и несколько раз вставал с целью возобновить свою работу у шкафута. К счастью, он так был ослаблен опьянением, что менее кровожадным из компании легко было его удержать, среди них был канатчик по имени Дёрк Питерс. Этот человек был сыном индианки из племени упсарока, которое живет среди твердых Черных Холмов около истоков Миссури.

Отец его, полагаю, был торговцем шкурами или, по крайней мере, имел какие-либо отношения с торговыми становищами на реке Льюис. Сам Питерс был одним из людей наиболее свирепого вида, каких я когда-либо видел. Он был низкого роста, не более четырех футов восьми дюймов, но члены его были совершенно геркулесовские. Кисти его рук были так ужасно толсты и широки, что едва похожи были на человеческие. Руки у него, так же как и ноги, были согнуты очень странным образом и, казалось, не обладали гибкостью. Голова была равно уродлива, будучи огромных размеров и с запавшим теменем (как у большинства негров), и совершенно лысая. Чтобы скрыть этот недостаток, который происходил не от преклонного возраста, он обыкновенно носил парик из чего-нибудь похожего на волосы, иногда из шерсти болонки или американского серого медведя. В то время, о котором я говорю, он носил кусок из такой медвежьей шерсти, и это немало увеличивало естественную свирепость его вида – отличительные черты типа упсароки.

Рот у Питерса тянулся от уха до уха; губы были тонки и, казалось, как и другие части его тела, были лишены естественной гибкости, так что преобладающее выражение его лица никогда не менялось под влиянием какого бы то ни было волнения. Это преобладающее выражение можно себе представить, если принять во внимание, что зубы у него были ужасно длинные: выдающиеся вперед, они никогда даже отчасти не закрывались губами. Смотри на этого человека беглым взглядом, можно было подумать, что он сведен смехом, но вторичный взгляд заставлял с содроганием убедиться: если это выражение и указывало на веселье, то веселье это было весельем демона. Об этом странном человеке ходило много рассказов среди моряков Нантакета. Рассказы эти доказывали его изумительную силу, когда он находился под влиянием какого-нибудь возбуждения, и некоторые из них вызывали сомнение относительно здравости его ума. Но на борту «Грампуса» во время бунта на него смотрели с чувством скорее насмешки, чем с каким-либо иным. Я так подробно говорю о Дёрке Питерсе, ибо, несмотря на кажущуюся свирепость, он был главным орудием спасения Августа, и так как я часто буду иметь случай упоминать о нем позднее в ходе моего повествования – повествования, которое, да будет мне позволено здесь сказать, в последней своей части будет заключать в себе случаи, столь выходящие из уровня человеческого опыта и потому столь вне границ человеческого легковерия, – что я продолжаю свое сообщение с полной безнадежностью вызвать к нему доверие и все же твердо уповаю, что время и успехи знания удостоят некоторые из самых важных и самых невероятных моих утверждений.

После многих колебаний и двух или трех резких ссор было наконец решено, что все узники (за исключением Августа, относительно которого Питерс шутя настаивал, что он возьмет его себе в секретари) будут посажены в одну из самых маленьких китобойных лодок и брошены на произвол судьбы. Штурман спустился в каюту, чтобы посмотреть, жив ли еще капитан Барнард – нужно припомнить, что он был оставлен внизу, когда бунтовщики поднялись наверх. Вскоре появились они оба, капитан бледный как смерть, но несколько оправившийся от раны. Он говорил еле слышным голосом, обращаясь к матросам, умолял их не предоставлять его воле ветра и волн, но вернуться к своему долгу и обещался высадить их, где они захотят, и не предпринимать никаких шагов для предания их правосудию. Так же успешно он мог бы говорить к ветрам. Двое из злодеев схватили его за руки и бросили через борт брига в лодку, которая была спущена, когда штурман ходил вниз. Четырех человек, которые лежали на палубе, развязали, и им было приказано повиноваться, что они и сделали, не пытаясь сопротивляться; Август все еще оставался в своем мучительном положении, несмотря на то что он бился и просил только об одной малой радости – позволить ему проститься с отцом.

Горсть морских сухарей и кружка воды были переданы вниз, но ни мачты, ни паруса, ни весла, ни компаса. Лодка была привязана за кормой несколько минут, в течение которых бунтовщики держали другой совет; наконец она была отвязана и пущена по ветру. Тем временем настала ночь – ни луны, ни звезд не было видно, и волны вздымались крутые и зловещие, хотя

не было большого ветра. Лодка тотчас же пропала из виду, и мало оставалось надежды насчет злополучных страдальцев, которые находились в ней. Это происшествие случилось, однако, на 35°30' северной широты и 61°21' западной долготы – следовательно, не в далеком расстоянии от Бермудских островов. Поэтому Август старался утешиться мыслью, что лодке или удастся достичь земли, или она сможет подойти к суше настолько близко, что встретится с судами этого побережья.

Все паруса на бриге были теперь подняты, и он продолжал свой первоначальный путь к юго-западу – бунтовщики задумали какую-то пиратскую экспедицию, в которой, как можно было понять, намеревались перехватить какой-нибудь корабль на пути от островов Зеленого Мыса к Пуэрто-Рико. На Августа, который был развязан, не обращали внимания, и он мог ходить всюду до капитанской каюты. Дёрк Питерс обращался с ним с некоторой добротой и при одном обстоятельстве спас его от свирепости повара. Положение Августа было еще очень ненадежно, ибо люди были почти всегда пьяны и нельзя было полагаться на их постоянное благорасположение или беззаботность по отношению к нему. Однако его опасения на мой счет были, как он говорил, самым мучительным в его положении; и правда, у меня никогда не было причины сомневаться в искренности его дружбы. Несколько раз он решался рассказать бунтовщикам тайну того, что я нахожусь на борту, но не делал этого, отчасти при воспоминании об ужасах, которые он уже видел, отчасти из надежды, что ему удастся вскоре прийти мне на помощь. Для этого он был постоянно настороже, но, несмотря на постоянное бодрствование, три дня истекло после того, как лодка была пущена по воле моря и ветра, пока представился случай. Наконец, на третий день вечером с восточной стороны набежал сильный ветер, и все были призваны наверх поднять паруса. Во время суеты, которая последовала, он прошел незамеченным в свою каюту. Каково было его огорчение и ужас, когда он увидел, что эта последняя была превращена в место склада различных запасов и корабельного материала и что различные грузы старых железных канатов, которые были раньше сложены около лестницы к каюте, теперь были притащены сюда, чтобы дать место ящику, и лежали как раз на трапе! Сдвинуть их так, чтобы этого не заметили, было невозможно, и он вернулся на палубу как только мог скоро. Когда он поднялся, штурман схватил его за горло и спросив, что он делал в каюте, был готов швырнуть его через борт, и тут жизнь его была еще раз спасена вмешательством Дёрка Питерса. Августу надели наручни (которых на борту было несколько пар), и ноги его были крепко связаны. Потом его снесли в каюту под лестницей и бросили на нижнюю койку, примыкавшую к переборке трюма, с заявлением, что он больше не взойдет на палубу, «пока бриг остается бригом». Так выразился повар, который бросил Августа на койку, – вряд ли возможно сказать, какой точный смысл он разумел в этих словах. Все это, однако, способствовало моему спасению, как сейчас это будет видно.

Глава пятая

Несколько минут спустя после того, как повар ушел из бака, Август предался отчаянию, не надеясь больше живым оставить койку. Теперь он решил сообщить первому, кто спустится вниз, о моем положении, думая, что лучше предоставить меня случайности среди бунтовщиков, нежели дать мне погибнуть от жажды в трюме, ведь прошло десять дней с тех пор, как я впервые был заключен, а мой кувшин с водой не был достаточным запасом даже на четыре дня. Когда он думал об этом, ему пришло в голову, что можно, вероятно, найти сообщение со мной через главный трюм. При других обстоятельствах трудность и неуверенность этого предприятия удержали бы его от попытки, но теперь, во всяком случае, было мало надежды на возможность сохранить жизнь и, следовательно, мало что было терять, поэтому он целиком сосредоточил свою мысль на данной задаче.

Его ручные кандалы были первым соображением. Сначала он не видел способа сдвинуть их и боялся, что потерпит неудачу в самом начале, но при более внимательном рассмотрении он увидел, что железки могли соскальзывать с небольшим лишь усилием или неудобством – просто нужно было протискивать руки через них; этот род ручных оков был совершенно непригоден, чтобы заковывать в кандалы людей юных, у которых кости более тонкие и гибкие. Он развязал затем ноги и, оставя веревку таким образом, чтобы она легко могла быть вновь приложена, на случай, если та сойдет вниз, продолжал исследовать переборку там, где она примыкала к койке. Перегородка была здесь из мягких сосновых досок в дюйм толщины, и он увидел, что ему будет очень легко прорезать себе путь через них. Вдруг послышался голос на лестнице бака, и он только что успел вложить свою правую руку в кандалу (левая не была снята) и натянуть веревку затяжной петлей вокруг щиколотки, как сошел вниз Дёрк Питерс в сопровождении Тигра, который тотчас прыгнул на койку и растянулся на ней. Собака была приведена на борт Августом, который знал о моей привязанности к животному и подумал, что мне доставит удовольствие иметь его с собой во время плавания. Он отправился за ним к нам в дом тотчас после того, как посадил меня в трюм, но забыл упомянуть об этом обстоятельстве, когда приносил часы. После бунта Август не видал Тигра до его появления с Дёрком Питерсом и считал его погибшим, думал что он был брошен за борт одним из злокозненных негодяев, принадлежавших к шайке штурмана. Позднее оказалось, что собака заползла в дыру под китобойной лодкой, откуда она не могла сама высвободиться, не имея достаточно места, чтоб повернуться, Питерс наконец выпустил ее и с тем особым благодушием, которое друг мой сумел хорошо оценить, привел ее к нему в бак в качестве товарища, оставив в то же время солонины и картофеля с кружкой воды; потом он вернулся на палубу, обещая сойти вниз с чем-нибудь съедобным на следующий день.

Когда он ушел, Август высвободил обе руки из наручней и развязал ноги. Потом он отвернул изголовье матраца, на котором лежал, и своим складным ножом (злодеи сочли излишним обыскать его) начал с силой прорезать насквозь одну из досок перегородки, как только мог ближе к полу у койки. Он решил сделать прорезь именно здесь, потому что, если бы его внезапно прервали, он мог бы скрыть то, что было сделано, предоставив изголовью матраца упасть на обычное место. Однако в продолжение остатка дня никакого нарушения не произошло, и ночью он совершенно разъединил доску. Нужно заметить, что никто из экипажа не занимал бака как места для сна. Со времени бунта все жили вместе в каюте, распивая вино, пируя морскими запасами капитана Барнарда и заботясь о плавании брига лишь в размерах безусловной необходимости. Эти обстоятельства оказались счастливыми для нас обоих, как для меня, так и для Августа, ибо, если бы все обстояло по-иному, он не нашел бы возможности добраться до меня. А так он продолжал начатое, твердо веруя в свое предприятие. Близился рассвет, прежде чем он окончил второй разрез доски (которая была около фута выше первой,

надрезанной), таким образом проделав отверстие для свободного прохода к главному кубрику. Добравшись до него, он проложил себе путь к главному нижнему люку, хотя пришлось перелезать через ряды бочек для ворвани, нагроможденных чуть не до самого верхнего дека, где оставалось лишь едва достаточно места, чтобы пропустить его. Достигнув люка, он увидел, что Тигр последовал за ним вниз, протискавшись между двух рядов бочек. Было слишком поздно, однако, пытаться дойти ко мне до зари, ибо главная трудность заключалась том, чтобы пройти через тесно нагруженный нижний трюм. Он решил поэтому возвратиться и ждать следующей ночи. С этой целью он продолжал раздвигать предметы в люке, чтобы меньше задерживаться, когда опять сойдет вниз. Не успел он расчистить путь, как Тигр нетерпеливо прыгнул к сделанному малому отверстию, обнюхал его и издал протяжный вой, царапая лапами, как будто непременно желая сдвинуть крышку. Не могло быть сомнения, что он почуял мое присутствие в трюме, и Август считал, что собака добралась бы до меня, если б он спустил ее. Он нашел способ послать мне записку, ибо было особенно желательно, чтобы я не пытался силой проломиться к выходу, по крайней мере при теперешних обстоятельствах, а у него не было уверенности, что назавтра он сможет спуститься сам, как предполагал. Последующие события доказали, как счастлива была эта мысль, ибо, если бы записка не была получена, я, без сомнения, натолкнулся бы на какой-нибудь план, хотя бы отчаянный, чтобы поднять тревогу среди матросов, и очень возможно, что обе наши жизни в результате были бы погублены.

Решив написать, он оказался в затруднении, как добыть необходимый для этого материал. Старая зубочистка была тотчас превращена в перо, при этом он действовал на ощупь, ибо между деками не было видно ни зги. Бумага нашлась – обратная сторона письма к мистеру Россу. Это был первоначальный набросок, но, так как почерк бы недостаточно хорошо подделан, Август написал другое письмо, сунув первое, по счастью, в карман куртки, теперь письмо нашлось кстати. Недоставало только чернил, и замена была тотчас найдена: он надрезал складным ножом палец, как раз над ногтем, – из него, как обычно в этом случае, кровь потекла в изобилии. Письмо было теперь написано, сколь это возможно было в темноте и при данных обстоятельствах. Оно вкратце объясняло, что был бунт, что капитан Барнард был пущен по морю на произвол судьбы и что я мог ожидать скорой помощи, поскольку это касалось запасов, но не должен был пытаться поднимать какую-либо тревогу. Письмо заканчивалось словами: «Я написал это кровью – твоя жизнь зависит от того, чтобы быть в скрытности».

После того как полоска бумаги была привязана на собаке, она была спущена вниз в люк, Август же возвратился в бак, и у него не было никаких оснований думать, что кто-нибудь из экипажа заходил туда в его отсутствие. Чтобы скрыть отверстие в переборке, он вонзил свой нож как раз над ним и повесил на него матросскую куртку, которую нашел на койке. Наручни были вновь надеты, и веревка прилажена вокруг щиколоток.

Только что все было устроено, как сошел вниз Дёрк Питерс, очень пьяный, но в прекрасном расположении духа, и принес с собой для моего друга съестное на день – дюжину больших жареных ирландских картофелин и кувшин воды. Он уселся на ящик около койки и без стеснения заговорил о штурмане и вообще о делах на бриге. Его повадка была необыкновенно своенравна и даже причудлива. Некоторое время Август был очень встревожен его странным поведением. Наконец, однако, Питерс ушел на палубу, пробормотав обещание принести назавтра хороший обед. В продолжение дня двое из экипажа (гарпунщики) спускались вниз в сопровождении повара, все трое были в последней степени опьянения. Как Питерс, они нимало не стеснялись и говорили совершенно открыто о своих планах. Оказалось, что они были совершенно несогласны между собой касательно их окончательного пути, не сходясь ни в чем, кроме мысли о нападении на корабль с островов Зеленого Мыса, с которым они с часу на час ожидали встречи. Насколько можно было удостовериться, бунт произошел вовсе не ради грабежа; частное недовольство главного штурмана капитаном Барнардом было главным побуждением. Теперь, казалось, было две главные партии среди экипажа: одной руководил

штурман, другой – повар. Первая партия была за то, чтобы перехватить любое пригодное судно, какое только попадется, и снарядить его на одном из Вест-Индских островов для пиратского крейсирования. Вторая партия, однако, более сильная – среди своих сторонников включала Дёрка Питерса, – была склонна продолжать первоначально установленный путь брига на юг Тихого океана, или заняться ловлей китов, или делать что-либо другое, как укажут обстоятельства. Доводы Питерса, который часто посещал эти области, оказывали, по-видимому, большое впечатление на бунтовщиков, колебавшихся между соображениями выгоды и удовольствия. Питерс уверенно говорил, что там их ждут целый мир новизны и забавы среди бесчисленных островов Тихого океана, полнейшая безопасность и безграничная свобода от каких бы то ни было препон, особенно же указывал на очаровательный климат, на возможность хорошо пожить и на чувственную красоту женщин. Ничего еще не было вполне решено, но описания индейца-канатчика сильно завладели горячим воображением моряков, и было очень вероятно, что его замыслы привели бы наконец к определенным следствиям.

Эти трое ушли приблизительно через час, и никто больше не входил в бак в продолжение целого дня. Август лежал смирно почти до ночи. Потом он освободил себя от веревки и железок и стал готовиться к новой попытке. На одной из коек он нашел бутылку и наполнил ее водой из кружки, оставленной Питерсом, набив карманы холодными картофелинами. К его великой радости, он также натолкнулся на фонарь с маленьким огарком сальной свечи. Он мог зажечь его каждое мгновение, ибо у него была коробка фосфорных спичек. Когда совсем стемнело, он пролез сквозь отверстие в переборке, из предосторожности так расположив одеяло на койке, чтобы создать впечатление закутавшегося человека. Когда он пролез, повесил матросскую куртку на свой нож, как и раньше, чтобы скрыть отверстие, – это было легко сделать, вынутый кусок досок он приспособил только после. Теперь он был на главном кубрике и стал пробираться к главному решетчатому люку, как и прежде, между верхним деком и бочками для ворвани. Достигнув его, он зажег огарок свечи и, с большим трудом пробираясь ощупью среди сплошного груза в трюме, спустился вниз. Через несколько мгновений он очень забеспокоился из-за невыносимой вони и спертости воздуха. Он подумал, что едва ли я выжил такое долгое время в моем заключении, дыша таким тяжелым воздухом. Он несколько раз позвал меня по имени, но я не отвечал, и опасения его, казалось, таким образом подтвердились. Бриг испытывал сильнейшую качку, и вследствие этого, из-за большого шума, напрасно было прислушиваться к какому-либо слабому звуку, вроде моего дыхания или храпа. Он открыл фонарь и поднимал его возможно выше всякий раз, как представлялся для этого удобный случай, чтобы, заметив свет, если я еще жив, я мог быть извещен, что помощь близится. Все же я не подавал никакого знака жизни, и предположение, что я умер, начало принимать характер достоверности!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.